НАДТОЧИЙ В. Д.

МОСКОВСКИЙ ПОПАДАНЕЦ

ГУБЕРНАТОР ИЗ ЧЕРТАНОВО



Владислав Надточий

Московский попаданец. Губернатор из Чертаново

«Автор»
2026

Надточий В. Д.

Московский попаданец. Губернатор из Чертаново /
В. Д. Надточий — «Автор», 2026

Он ещё не знает, что чугунный люк с надписью «Дремовъ. 1875» изменит не только его судьбу, но и историю целого города.Пётр Ильич Брагин — шестидесятилетний председатель совета дома из Чертанова. Он умеет чинить трубы, усмирять соседей и наводить порядок там, где остальные давно махнули рукой. Но обычная коммунальная авария забрасывает его в 1875 год — в провинциальный Дремов, где мост вот-вот рухнет, казна пуста, а власть принадлежит тем, у кого больше денег и меньше совести.Вернуться домой Пётр Ильич пока не может. Зато он может спасти затопленный подвал, организовать пожарную дружину и объяснить местным чиновникам, что такое настоящий порядок. Вскоре бывший сантехник становится городским головой — и наживает опасного врага.Но почему люк отправил его именно сюда? И что произойдёт, когда круг времени замкнётся?Ироничный роман о человеке, который не собирался менять историю. Он просто не мог пройти мимо беспорядка.

© Надточий В. Д., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Губернатор Чертанова 6
Глава 2. Свинья на Дворянской 13
Глава 3. Только не Хлестаков 23
Конец ознакомительного фрагмента. 32

Владислав Надточий
Московский попаданец.
Губернатор из Чертаново

Настоящее произведение является художественным вымыслом. Все события и персонажи, за исключением общеизвестных исторических реалий, вымышлены. Любые совпадения с реально существующими или существовавшими людьми, организациями, местами и событиями случайны.

Глава 1. Губернатор Чертанова

В шесть сорок утра я уже стоял на газоне и смотрел на чёрный джип. Джип смотрел на меня фарами и делал вид, что он тут вырос.

— Тимур, — сказал я в рупор. — Пятый этаж, сорок вторая квартира. Тимур Альбертович. Выйдите, пожалуйста, на балкон.

Рупор у меня маленький, красный, на четырёх пальчиковых батарейках. Его подарил мне внук Степан на шестьдесят первый день рождения. Степану десять лет, и он сказал: «Деда, ты всё равно на них кричишь, так хоть горло побереги». Умный мальчик. В мать, а мать в меня.

На пятом этаже открылась форточка.

— Пётр Ильич, — сказал Тимур голосом человека, которого разбудили в шесть сорок. — Ну что опять?

— Опять газон, — сказал я. — Газон, Тимур Альбертович, это элемент благоустройства придомовой территории. Он не является парковочным местом. Он является травой. Вы на траве стоите уже девятый раз за месяц. Я считаю.

— Да там места не было!

— Места не было в половине первого ночи, — согласился я. — А в шесть утра Ковальчуки уехали на работу, и место есть. Вот оно, место. Я его вам своим телом держу.

Я действительно стоял на этом месте, посреди асфальта, раскинув руки, в оранжевом жилете. Жилет у меня ещё с работы. Тридцать два года я проработал в управляющей компании, начинал слесарем-сантехником, закончил начальником участка, и за эти годы привык к мысли, что человек в оранжевом жилете виден издалека, а значит, ему больше доверяют. Или больше его боятся. Тут как повезёт.

Тимур посмотрел на меня, на джип, на пустое место и закрыл форточку. Через три минуты он вышел во двор в тапочках, сел в машину и с ворчанием переставил её с газона на асфальт. Колёса оставили на траве две чёрные борозды.

— Спасибо, Тимур Альбертович, — сказал я. — Газон весной сеяли всем домом. Я вам потом покажу фотографии.

— Пётр Ильич, вот вы бы губернатором были, — сказал Тимур, вылезая. — Вы бы всю область построили.

— Я и так губернатор, — сказал я. — Двора. Иди спать.

Это правда. Во дворе меня так и зовут: губернатор Чертанова. Придумала Римма Эдуардовна с первого этажа, когда я на собрании собственников три часа зачитывал смету по капремонту кровли. Она тогда сказала: «Ну всё, наш губернатор опять доклад читает». Хотела обидеть. Прижилось.

Меня зовут Пётр Ильич Брагин. Мне шестьдесят один год. Я председатель совета многоквартирного дома номер четырнадцать по Чертановской улице. Это должность общественная, денег за неё не платят, зато каждый, кто живёт в доме, считает своим долгом сообщить мне, что я делаю всё неправильно.

Родители мои приехали в Москву по лимиту из-под Моршанска. Отец, Илья Петрович, крутил баранку самосвала на стройках, мать, Нина Сергеевна, штукатурила стены в тех самых домах, которые потом строили вокруг нас. Наш дом, кстати, тоже штукатурила она. Когда я пошёл в председатели, она сказала: «Пётр, ты там хоть потолки посмотри, мы их в восемьдесят втором делали». Я посмотрел. Потолки держатся. Мать умела.

Учился я в ПТУ после восьмого класса на сантехника. Потом, уже работая, кончил вечерний строительный техникум. Высшего образования у меня нет, о чём мне любит напоминать директор нашей управляющей компании Эльвира Робертовна Шумская. У неё два высших. Одно экономическое, второе, по-моему, по подписанию отписок.

Женат я был дважды. Оба раза по ошибке, но по разной. Первая жена, Тамара, ушла от меня потому, что я всё время был на авариях. Вторая, Жанна, ушла потому, что я, наоборот, всё время был дома и рассказывал ей про аварии. От Тамары у меня дочь Вера, ей тридцать шесть, она бухгалтер и живёт в Мытищах. От Жанны у меня сервиз «Мадонна», который она так и не забрала.

Живу я с котом. Кота зовут Протокол. Он рыжий, толстый и всегда садится на ту бумагу, которую мне надо подписать.

Пока я шёл домой с газона, на скамейке у подъезда уже сидела Римма Эдуардовна. Ей семьдесят восемь лет, она тридцать лет преподавала сольфеджио и до сих пор говорит так, будто ставит тебе двойку за неправильный интервал. Перед ней на асфальте шуршали голуби. Голубей было штук сорок. Перед голубями лежал батон.

— Доброе утро, Римма Эдуардовна, — сказал я.

— Доброе, — сказала она, не поворачивая головы. — Уже воевали?

— Беседовал.

— Весь дом слышал, как вы беседовали.

— Это хорошо, — сказал я. — Значит, профилактика сработала на весь дом. Римма Эдуардовна, а мы с вами на прошлом собрании о чём договаривались?

— Не помню.

— Мы договаривались, что голубей вы кормите не у подъезда, а на площадке за гаражами. Потому что у подъезда они потом... — я посмотрел на козырёк, — оставляют своё мнение. А Ковальчуки два раза в неделю этот козырёк моют.

— Голуби — птицы мира, — сказала Римма Эдуардовна.

— Мира, — согласился я. — Но не чистоты.

Она поджала губы и бросила голубям ещё кусок батона. Голуби взлетели, сделали круг над моей головой и, как по команде, высказали своё мнение прямо мне на жилет.

— Вот, — сказала Римма Эдуардовна с удовлетворением. — Птица всё понимает.

Я пошёл домой стирать жилет. Протокол встретил меня в прихожей, понюхал жилет и посмотрел на меня с уважением. Коты уважают людей, которые пахнут улицей.

День у меня начинался обычный. В восемь я позвонил в управляющую компанию по поводу протечки на девятом этаже. В восемь пятнадцать мне сказали, что протечки нет, потому что на неё нет заявки. В восемь двадцать я подал заявку. В восемь тридцать мне позвонили и сказали, что протечка будет устранена в течение трёх рабочих дней. В восемь тридцать одну я поднялся на девятый этаж, сам перекрыл стояк и поставил хомут на свищ. Хомуты у меня в ящике в прихожей, рядом с ботинками. Их там двадцать шесть, разного диаметра. Протокол на них спит.

В десять пришла Вера. Без звонка, как всегда, у неё ключи.

— Пап, — сказала она с порога. — Я на минуту. Степан у бабушки Тамары, мне в налоговую, я мимо. Ты таблетки пьёшь?

— Пью.

— Покажи.

Я показал коробочку с отделениями по дням недели. Вера её подарила, и я пью таблетки только потому, что боюсь, как она будет проверять. Вера пересчитала таблетки, удовлетворённо кивнула и посмотрела на меня так, как смотрела её мать, когда я приходил с аварии в три ночи.

— Ты опять с Тимуром ругался.

— Откуда ты знаешь?

— Мне Римма Эдуардовна написала, — сказала Вера. — В мессенджере. Она тебя мне всегда пишет. Пап, ну зачем ты? Тебе шестьдесят один год. Отдохни. Поезжай куда-нибудь. В санаторий. Я тебе путёвку найду.

— В санатории тоже газоны, — сказал я. — И тоже на них ставят.

— Пап!

— Вера, — сказал я. — Я тридцать два года всё это чинил. Если я сейчас перестану, оно рухнет.

— Оно не рухнет. Ты на пенсии.

— Оно не знает, что я на пенсии, — сказал я. — Трубы, Вера, не читают пенсионное удостоверение.

Она засмеялась, поцеловала меня в лоб, взяла из холодильника банку огурцов, которую я ей солил, и ушла. Вера всегда так: ругает, пересчитывает таблетки и уносит огурцы. Я её очень люблю.

В двенадцать я обходил территорию. Это у меня такая привычка с работы: каждый день в полдень пройти по двору, посмотреть, что изменилось. Ничего не изменилось, если не считать того, что на детской площадке кто-то открутил болт от качелей, а у мусорных баков кто-то оставил диван. Диван был зелёный, в цветочек, и на нём сидели два подростка с телефонами.

— Молодые люди, — сказал я. — Это ваш диван?

— Не, — сказал один. — Он сам тут.

— Сам он сюда прийти не мог, — сказал я. — У дивана нет ног. Точнее, есть, но они не для ходьбы. Кто его вынес?

Подростки переглянулись.

— Дядя Пётр, — сказал второй. — А правда, что вы на прошлой неделе Тимуру колёса мелом обвели и сфотографировали?

— Правда, — сказал я. — Это называется фиксация нарушения. Так кто вынес диван?

— С седьмого этажа, из тридцать первой, — сдал первый с удовольствием. — Они ремонт делают.

— Спасибо, — сказал я и записал в блокнот. Блокнот у меня в нагрудном кармане жилета. На обложке написано: «Акты осмотра». Внутри у меня весь дом. Кто, что, когда, сколько раз. Римма Эдуардовна называет этот блокнот «Книгой судеб». Тоже прижилось.

После обеда пришло то, ради чего я, собственно, и не мог уехать ни в какой санаторий. Пришли рабочие менять теплотрассу.

Теплотрассу у нас обещали поменять одиннадцать лет. Я одиннадцать лет писал письма. Письма были разные: вежливые, требовательные, жалобные, с фотографиями, с расчётами теплопотерь, с подписями жильцов. Одно письмо я написал в стихах. Не я, конечно, а Римма Эдуардовна, она в молодости писала стихи. Получилось хорошо: «Мы мёрзнем двадцать первый год, а трубы плачут в переход». Не знаю, что подействовало, но в этом году нас наконец внесли в план.

Рабочие приехали на экскаваторе. Экскаватор был жёлтый, старый, и экскаваторщик Николай, молодой и весёлый, первым делом спросил меня, где тут газон, чтобы на него не заезжать. Я чуть не прослезился. За все тридцать два года меня никто никогда не спрашивал, где газон.

— Вот тут, — показал я. — Его весь дом сеял. А тут можно, тут асфальт всё равно под замену.

— Понял, начальник, — сказал Николай.

Меня все рабочие сразу называют начальником. Видимо, жилет.

Копали они до вечера. Я стоял рядом, потому что не мог не стоять. Тридцать два года стоял рядом со всеми, кто копал, и привык. Николай копал аккуратно. Его напарник, пожилой молчаливый Анатолий, курил и смотрел в яму так, будто там что-то должно было найтись. Так оно и вышло.

Около шести вечера ковш экскаватора звякнул обо что-то металлическое. Николай остановился. Анатолий бросил сигарету, спрыгнул в яму и стал разгребать землю руками.

— Труба? — спросил я.

— Не, — сказал Анатолий. Это было первое слово, которое я от него услышал. — Колодец. Старый.

Я тоже спрыгнул в яму. В шестьдесят один год прыгать в яму не очень разумно, но я не удержался. Под слоем глины, кирпичного боя и каких-то гнилых досок лежал круглый чугунный люк. Не наш, не советский, с дырочками и надписью «Мосводоканал», а совсем другой. Тяжёлый, толстый, с выпуклым узором. Посередине узора шла надпись старыми буквами, с твёрдыми знаками.

Я стёр глину ладонью и прочитал:

— «Дремовъ. 1875».

— Чего? — спросил Николай сверху.

— Дремов, — повторил я. — Тысяча восемьсот семьдесят пятый год.

— А что такое Дремов?

— Город, наверное, — сказал я. — Где отлили.

Анатолий постучал по люку костяшками пальцев. Люк ответил глухим, низким звуком, как будто под ним было очень глубоко.

— Хорошее литьё, — сказал Анатолий. — Сейчас так не льют.

Это было второе слово, которое я от него услышал. Точнее, третье, четвёртое и пятое. Видимо, люк его растрогал.

Я поднялся наверх и сразу позвонил в архив управы. Не дозвонился, конечно, был уже седьмой час. Тогда я полез в интернет. Внук Степан научил меня искать в телефоне, и я теперь ищу всё. Дремов нашёлся. Небольшой город, триста с лишним километров от Москвы, в позапрошлом веке уездный, теперь районный центр, население девять тысяч, есть краеведческий музей и памятник гусю. Почему гусю, не написано. Чугунолитейный завод купца Тюрина, основан в тысяча восемьсот пятьдесят девятом году, закрыт в тысяча девятьсот тридцатом.

— Как он к нам попал? — спросил я сам себя вслух.

— Купили, наверное, — сказал Николай. — Тогда, может, всё покупали в разных местах. Как сейчас в Китае.

— В тысяча восемьсот семьдесят пятом году здесь была деревня, — сказал я. — Чертаново. Тут даже водопровода не было. Какой колодец?

— Ну, может, у помещика какого был, — сказал Николай. — Колодец для воды.

Я посмотрел на люк. Колодец для воды обычно накрывают срубом, а не чугунным люком с надписью. И вообще всё это было неправильно. Я тридцать два года вскрывал подвалы, колодцы и коллекторы на этом участке и знал под землёй каждую трубу. Никакого колодца тут не было. По схемам не было, по документам не было, по моей памяти не было. А он был.

— Завтра аккуратно вынем, — сказал Николай. — Сдадим, может, в музей. Или вам, на память. Вы ж начальник.

— Не трогайте пока, — сказал я. — Я завтра позвоню в управу. Может, это историческое. Может, его охраняют.

— Кто его охраняет? Он в яме лежал сто пятьдесят лет.

— Вот и полежит ещё одну ночь, — сказал я.

Рабочие огородили яму сигнальной лентой и уехали. Я ещё постоял над ямой, сфотографировал люк на телефон, потом пошёл домой. Протокол ждал меня в прихожей с видом кота, которого не кормили три дня. Его кормили в два часа. Я это точно знаю, я его кормил.

Вечером в семь у нас было собрание собственников. Внеочередное, по поводу шлагбаума.

Шлагбаум у нас обсуждают пятый год. За пять лет собрание собиралось одиннадцать раз, и ни разу не было кворума. Кворум — это когда пришло больше половины собственников по площади. На собрание по шлагбауму обычно приходит восемь человек: я, Римма Эдуардовна, Ковальчуки, две сестры Ляпины из девяносто первой, бывший военный Сергей Степанович,

который хочет шлагбаум, и Тимур, который шлагбаум не хочет, потому что тогда ему негде будет ставить джип.

В этот раз пришло девять. Девятым пришёл кот Протокол. Он вылез из моей сумки во дворе, сел на столик для домино, где мы раскладывали бумаги, и лёг ровно на протокол собрания. Мне пришлось писать протокол на его спине.

— Итак, — сказал я. — Повестка дня. Первое: установка шлагбаума. Второе: разное.

— А в разном что? — спросила Римма Эдуардовна.

— В разном будут голуби, — сказал я.

— Тогда я возражаю против повестки.

— Возражение принято к сведению, — сказал я и записал на коте: «Возражение Р. Э. принято к сведению». — По первому вопросу. Стоимость шлагбаума с установкой и пультами сто восемьдесят четыре тысячи рублей. На квартиру выходит девятьсот двадцать рублей разово. Плюс обслуживание.

— А кто будет открывать скорой? — спросил Сергей Степанович. Он всегда спрашивает про скорую, хотя сам шлагбаум хочет.

— Скорой будет открывать диспетчер по звонку. Или я.

— А когда вы умрёте? — спросила Римма Эдуардовна.

Все замолчали.

— Когда я умру, Римма Эдуардовна, — сказал я, — вы будете открывать. Я вам пульт завещаю.

Ковальчуки засмеялись. Сёстры Ляпины тоже. Римма Эдуардовна поджала губы, но я видел, что ей понравилось. Ей вообще нравится со мной ругаться. Я подозреваю, что она ходит на собрания только для этого. Как в театр.

Кворума, конечно, не было. Я зафиксировал отсутствие кворума, назначил повторное собрание на заочной форме, раздал бюллетени и уже собирался перейти к голубям, как вдруг из ямы во дворе раздался звук.

Звук был такой, что я его ни с чем не спутаю. Тридцать два года на аварийке учат узнавать этот звук за километр. Сначала глухой удар, потом шипение, потом бульканье, а потом рёв. Так рвётся под давлением старая труба горячего водоснабжения.

— Порыв, — сказал я и встал.

Над ямой поднимался белый пар. Сигнальная лента трепыхалась. Пар шёл из-под земли, сбоку, оттуда, где раскопанная старая теплотраса соединялась с вводом в дом. Видимо, экскаватор задел трубу, она весь вечер держалась, а к семи часам, когда в доме все открыли краны на ужин, давление выросло, и она не выдержала.

— Звоните в аварийку, — сказал я Ковальчукам. — Номер на доске у подъезда. Скажите: порыв трубы ГВС на вводе, дом четырнадцать, вода идёт в котлован. Сергей Степанович, никого к яме не пускайте. Римма Эдуардовна, уведите голубей.

— Каких голубей?

— Любых, — сказал я и побежал домой за ключами от подвала.

Тут надо объяснить. Чтобы перекрыть воду в доме, нужно спуститься в подвал, в тепловой узел, и закрыть там две большие задвижки. Ключи от подвала есть у управляющей компании, у аварийки и у меня. У аварийки они где-то в машине, а машина едет через весь район. У управляющей компании они в сейфе, а сейф в кабинете Эльвиры Робертовны, а Эльвира Робертовна по вечерам не отвечает на звонки, потому что, как она мне однажды объяснила, у неё «тоже есть личная жизнь».

А у меня ключи в прихожей. На гвоздике, рядом с хомутами.

Я взял ключи, фонарь и, на всякий случай, рупор. Рупор у меня всегда с собой, когда авария. Привычка. Подумал и сунул в карман жилета коробочку с таблетками: Вера положила их на две недели вперёд, и если я пропущу вечернюю, она узнает об этом раньше меня. Про-

токол бежал за мной до двери и мяукал, как будто хотел что-то сказать. Я сказал ему: «Потом». Коту всегда говоришь «потом», а он тебя потом за это не прощает.

Я спустился в подвал. Там было сухо и тихо, задвижки стояли на месте. Я закрыл первую. Вторая не шла. Её не открывали лет десять, и она прикипела. Я налёг на неё всем весом. Она скрипнула и чуть подалась. Я налёг ещё. Она подалась ещё. Наверху, в доме, я слышал, как гудят трубы. Потом гудение начало стихать. Ещё один рывок, и задвижка закрылась до упора.

В подвале стало совсем тихо. Я вытер лоб и поднялся во двор.

Во дворе было не тихо. Вода продолжала хлестать в котлован. Пар стоял столбом. Около ямы стояли Ковальчуки, Сергей Степанович, сёстры Ляпины, Тимур в тапочках, Римма Эдуардовна с пакетом батонов и человек десять соседей, которые пришли посмотреть. На собрание они не пришли, а на аварию пришли. Это всегда так. Если бы я объявил собрание по шлагбауму как аварию, у меня был бы кворум.

— Пётр Ильич, — сказал Сергей Степанович. — Вода идёт.

— Вижу, — сказал я. — Значит, это не наша вода. Это вода с магистрали, до нашего узла. Её надо закрывать в колодце на трассе. А колодец на трассе...

Я посмотрел на схему в голове. Колодец на трассе был за углом, у школы, и его, я точно помнил, три года назад закатали асфальтом при благоустройстве. Я тогда писал письмо, мне ответили, что всё под контролем.

— Аварийка что говорит?

— Говорят, едут, — сказал Ковальчук. — Говорят, минут сорок.

— За сорок минут котлован наполнится, — сказал я. — И вода пойдёт в подвал школы. А там у них, между прочим, архив и спортзал.

Я посмотрел в яму. Вода уже покрыла дно и подбиралась к старому чугунному люку. И тут я заметил странное. Вода не скапливалась над люком. Она уходила в него. В щель между люком и горловиной. Уходила быстро, с бульканьем, как в раковину, когда вынешь пробку. Если колодец был старым колодцем для воды, он давно должен был быть засыпан. А он был пустой. И глубокий.

— Он сбрасывает, — сказал я.

— Что сбрасывает? — спросила Римма Эдуардовна.

— Колодец. Старый. Вода уходит туда. Если его открыть, он примет больше, и котлован не переполнится, пока едет аварийка.

— А куда она там уходит? — спросил Тимур.

— Не знаю, — честно сказал я. — Куда-то уходит. Может, в старый дренаж. Может, в Чертановку. Сто пятьдесят лет назад тут много чего под землёй делали.

Это я, конечно, сказал от себя. Ничего тут сто пятьдесят лет назад не делали. Но вода уходила, и надо было что-то решать.

— Пётр Ильич, не лезьте, — сказал Сергей Степанович. — Вам шестьдесят один год.

— Мне шестьдесят один год, — согласился я. — Я в этих ямах прожил тридцать два из них.

Я перелез через ленту и спустился в котлован по лестнице, которую оставили рабочие. Вода была горячая, градусов шестьдесят, и шла мне по щиколотку. Сапоги у меня резиновые, рабочие, высокие, ещё со службы. В них я хожу на все аварии. Вера их называет «папины ботфорты».

Люк оказался тяжёлым, но не прикипевшим. Как будто его кто-то недавно открывал. Я поддел его ломиком, который тоже оставили рабочие, сдвинул на полметра. Под ним была темнота. Вода из котлована хлынула туда с шумом, как в водопад. Где-то далеко внизу она плескалась, и плеск этот был странный. Не как в колодце. Как на реке.

Я посветил фонарём. Внутри были чугунные скобы-ступеньки, уходящие вниз. На первой скобе тоже было выбито «Дремовъ».

— Ну что там? — крикнули сверху.

— Глубоко, — сказал я. — Принимает хорошо. Сейчас я его до конца открою.

Я налёг на люк. Он сдвинулся ещё. Потом ещё. Вода хлестала вниз. Я стоял на краю горловины одной ногой, другой упирался в стенку котлована, и в этот момент стенка, подмытая горячей водой, тихо, как-то даже деликатно, поехала.

Я помню, как полетел фонарь. Помню, как сверху закричала Римма Эдуардовна, причём закричала она не «ой» и не «помогите», а почему-то «Пётр Ильич, а голуби?». Помню, как я схватился за первую скобу, и скоба оказалась тёплой, будто её только что отлили. Помню, что в руке у меня всё ещё был рупор, и я зачем-то нажал на кнопку, и над двором прогремело моё собственное:

— Внимание, жильцы!

А потом стало очень темно, очень мокро и очень громко, как будто я ехал вниз по водосточной трубе многоэтажки, а рядом со мной ехала вся вода Чертанова.

Последнее, о чём я успел подумать, было не про жизнь и не про Веру. Я подумал, что так и не составил акт о порыве. Тридцать два года я ни разу не уходил с аварии без акта.

Это было неправильно.

Глава 2. Свинья на Дворянской

Очнулся я от того, что меня кто-то нюхал.

Нюхал внимательно, со знанием дела, начиная с сапог. Потом перешёл на колени. Потом добрался до жилета, задержался на нагрудном кармане с блокнотом и громко, с чувством, хрюкнул.

Я открыл глаза. Надо мной стояла свинья.

Свинья была крупная, розовая, с чёрным пятном на левом ухе и с красной ленточкой на шее. Ленточка была завязана бантиком. Свинья смотрела на меня маленькими умными глазками, как Эльвира Робертовна смотрит на жильца, пришедшего без записи.

— Доброе утро, — сказал я свинье.

Свинья хрюкнула ещё раз и ткнулась пятачком мне в щёку. Пятачок был мокрый и холодный.

Я сел. Сидел я в канаве. Канава была неглубокая, по пояс, и в ней текла вода. Не горячая, как в Чертанове, а обычная, холодная, мутная, с запахом тины и чего-то ещё, о чём не хотелось думать. За моей спиной из обрывистого берега торчала кирпичная труба, старая, кривая, сложенная из красного кирпича на известковом растворе. Из трубы текла тонкая струйка воды. Видимо, оттуда я и выпал.

Я ощупал себя. Руки были на месте, ноги тоже. Сапоги на мне, жилет на мне, хотя и мокрый. В одной руке, совершенно непонятным образом, я до сих пор сжимал рупор. Пальцы свело так, что я его еле отпустил. В нагрудном кармане лежали блокнот «Акты осмотра», ручка, складной метр и телефон в пакетике. Пакетик меня Вера научила: «Пап, ты вечно в воде, клади телефон в пакет». Вот и пригодилось.

На поясе висел свисток на шнурке. Тоже с работы. И ключи от подвала. Ключи от подвала меня почему-то успокоили. Если ключи от подвала на месте, значит, подвал где-то есть.

Я посмотрел вверх. Над канавой было небо, светлое, раннее, с розовыми облаками. Пахло дымом, навозом и сиренью. Где-то совсем рядом звонил колокол, неторопливо, басовито. Кричали петухи. Много петухов, штук двадцать, с разных сторон, будто перекликались.

В Чертанове петухов нет. Есть одна курица у сестёр Ляпиных на балконе, но она не кричит, она нервно квохчет.

Я вылез из канавы. Свинья вылезла за мной и встала рядом, как собака. Я огляделся.

Передо мной была улица. Широкая, немощёная, вся в лужах. По обе стороны стояли деревянные дома, одноэтажные и двухэтажные, с резными наличниками, с палисадниками, с заборами. Над заборами свешивалась сирень. Дальше, в конце улицы, виднелась белая церковь с зелёным куполом, а за ней какие-то каменные ряды с арками. По улице шли гуси. Гусей было много, целая процессия, штук тридцать. Они шли важно, в ногу, гоготали и не обращали на меня никакого внимания.

Ни одного столба. Ни одного провода. Ни одной машины. Ни одного джипа на газоне. Газонов тоже не было.

— Так, — сказал я вслух.

Свинья посмотрела на меня с интересом.

— Это не Чертаново, — сообщил я ей.

Свинья согласилась.

Я достал телефон из пакетика. Телефон включился. Зарядки тридцать один процент. Связи нет. Время показывало одиннадцать сорок семь вечера, тот же день, когда я полез в колодец. Дата тоже была прежняя. Я нажал на вызов Веры. Телефон подумал и сказал: «Нет сети».

Тогда я сделал то, что делает любой москвич, у которого пропала связь. Поднял телефон над головой и пошёл искать, где ловит. Сначала вдоль канавы, потом на бугор, потом залез на чей-то забор. Свинья ходила за мной следом и, когда я останавливался, тоже задирала пятачок вверх. Со стороны, наверное, казалось, что мы вдвоём молимся плоской чёрной иконке. На заборе ловило так же, как в канаве, то есть никак. Зато из-за забора высунулась баба в платке, увидела мужика в рыжем со светящейся дощечкой в поднятой руке, сказала басом «свят, свят» и захлопнула ставню. Я слез. В Чертанове связь пропадает только в лифте. Выходило, что весь этот город и есть один большой лифт, застрявший между этажами.

Я выключил телефон и убрал его обратно в пакетик. Тридцать один процент. Когда-то на аварии я научился беречь фонарик, если не знаешь, сколько тебе сидеть в коллекторе. Тут, похоже, было что-то вроде коллектора. Только очень большого.

По улице, от церкви, ко мне шёл человек. Человек был огромный. Таких я видел только на стройке, среди монтажников-высотников, и то не каждый день. Метра два, плечи как дверной проём, рыжая борода лопатой. На нём был чёрный мундир с медными пуговицами, на боку висела шашка, на голове фуражка. Шёл он неторопливо, как ходят люди, которые знают, что их всё равно все увидят.

Подойдя, он остановился, посмотрел на меня сверху вниз, потом на свинью, потом снова на меня.

— Клеопатра, — укоризненно сказал он свинье. — Опять?

Свинья хрюкнула и спряталась за мои сапоги.

— Это ваша свинья? — спросил я.

— Это свинья матушки Агриппины, — сказал великан. — Отца протоиерея супруги. Сбегает. Третий раз за неделю. А вы, сударь, кто такой будете?

Сударь. Меня тридцать два года называли «начальником», «мастером», «Ильичом», «этим из управы» и один раз, на собрании, Римма Эдуардовна назвала меня «товарищем полковником», хотя я никогда не служил выше сержанта. Сударем меня не называли никогда.

— Я Брагин, — сказал я. — Пётр Ильич. Из Москвы.

— Из Москвы, — повторил великан. Он медленно оглядел мой жилет. Жилет был оранжевый, светоотражающий, с серебряными полосами. На утреннем солнце полосы сверкали. — А это на вас что?

— Жилет, — сказал я. — Рабочий.

— Рабочий, — повторил он. — А почему такой... рыжий?

— Чтобы видно было.

— Кому видно?

— Всем, — сказал я. — Чтобы не задавили.

Великан подумал. Видно было, что он думает основательно, всерьёз, ничего не пропуская.

— А кто вас тут задавит? — спросил он наконец. — Тут только гуси.

— Гуси тоже могут, — сказал я. — Если их много.

Он посмотрел на гусей. Гуси шли мимо, гогоча. Их действительно было много.

— Это правда, — признал великан. — Прошлым годом гуси отставного майора Сухова с ног сбили. Он с тех пор с палкой. Ладно, сударь. Пожалуйте со мной в участок.

— За что?

— Для выяснения, — сказал великан. — Человек вылез из канавы в рыжем, свинью матушкину увёл, документов при нём, я так понимаю, нет. Для выяснения, сударь. Исправник разберётся.

— Документы у меня есть, — сказал я.

— Вот исправнику и покажете.

Я посмотрел на него. Он был спокойный, вежливый, огромный, и спорить с ним было так же бесполезно, как с несущей стеной. Несущие стены я уважаю. Их нельзя сносить без проекта.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Тит Пантелеевич Колода, — сказал великан. — Городовой.

— Пойдёмте, Тит Пантелеевич, — сказал я. — Только свинью возьмём. Её, наверное, хозяйка ищет.

Колода посмотрел на меня с некоторым уважением.

— Это вы правильно, — сказал он. — А то матушка в прошлый раз на меня жалобу благочинному писала. Что я её Клеопатру в непристойных местах оставляю.

— В каких местах?

— У питейного заведения, — сказал он мрачно. — Она сама туда пришла. Её там хлебом кормили. С пивом.

Мы пошли по улице втроём: я, Колода и свинья. Свинья шла с удовольствием, иногда забегала вперёд и оборачивалась. Колода шёл рядом со мной и молчал. Гуси расступались перед ним, как жильцы перед председателем, когда тот идёт с бюллетенями.

Я шёл и смотрел по сторонам. Глаза у меня привыкли к одному: тридцать два года я ходил по участку и видел дефекты. Трещину в отмостке. Протечку на козырьке. Отслоение штукатурки. Неправильный уклон. Засор в ливнёвке. Я не хотел смотреть, оно само смотрелось.

Тут дефектов было столько, что у меня зачесались руки.

Улица была без мостовой и без тротуаров. Вдоль домов шли деревянные мостки, местами проваленные, местами вообще отсутствующие. Канавы вдоль улицы были забиты мусором и стояли полные зелёной воды. Водосточных труб не было ни на одном доме, вода с крыш лила прямо под фундаменты. У половины домов фундаменты были подмыты, нижние венцы почернели и прогнили. Заборы кренились. Ворота висели на одной петле. У одного дома угол крыши провис так, что я машинально прикинул, сколько ему осталось. Выходило, до первого снега.

А посреди улицы, ближе к площади, стояла лужа.

Это была не лужа. Это было водохранилище. Она занимала всю ширину улицы, от забора до забора, метров пятнадцать, а в длину была метров сорок. Вода в ней была коричневая, густая, как какао. Посередине торчала оглобля. На краю лужи, на деревянной скамейке, сидели трое мужиков в красных рубахах. Рядом с ними стояли две лошади в упряжи, с толстыми верёвками.

— А это что? — спросил я.

— Байкал, — сказал Колода.

— Что?

— Байкал, — повторил он. — Лужу так зовут. Её отродясь так зовут. Мой дед её так звал. Она не высыхает. Летом, бывает, чуть меньше становится, к Петрову дню. Но не высыхает.

— А мужики?

— Это артель, — сказал Колода. — Купца Мордасова. Вытаскивают.

— Кого вытаскивают?

— Кто застрянет, — сказал Колода. — Телеги, коляски. За гривенник вытащат. За пятиалтынный вытащат и обтрут. Мордасовские.

Я остановился и посмотрел на лужу. Потом на артель. Артель смотрела на меня. Один из мужиков, молодой, с рябым лицом, толкнул другого локтем и показал на мой жилет. Другой засмеялся.

— Тит Пантелеевич, — сказал я. — А почему её не засыплют?

— Кого?

— Лужу.

Колода посмотрел на меня так, будто я предложил засыпать Чёрное море.

— Так ведь Байкал, — сказал он.

Я понял, что объяснять бесполезно. Но в блокнот записал: «Лужа. Площадь около 600 кв. м. Причина: отсутствие водоотвода. Дополнительная причина: коммерческая заинтересованность». Колода смотрел, как я пишу.

— Это вы что, сударь, пишете?

— Акт осмотра, — сказал я.

— Какой акт?

— Обыкновенный. Что вижу, то пишу.

Колода подумал, потом отошёл от меня на полшага. Совсем немного, но я заметил. В его глазах появилось что-то новое. Я не сразу понял что. Потом понял. Это был страх. Не передо мной. Перед словом «акт».

Участок оказался каменным двухэтажным домом на площади, жёлтым, с белыми колоннами и с надписью над дверью: «Уѣздное полицейское управленіе». Перед домом стояла полосатая будка, а в будке никого не было. Колода привязал свинью к будке, отряхнул мундир и открыл передо мной дверь.

Внутри было темно, прохладно и пахло сургучом, табаком и мышами. В передней комнате за столом сидел маленький писарь с пером за ухом и что-то переписывал. Увидев меня, он перестал переписывать и открыл рот. Так он и сидел, с открытым ртом, пока мы шли мимо. Мой жилет на всех действовал одинаково.

Колода постучал в обитую дерматином дверь. Нет, не дерматином. Каким-то клеёнчатым материалом, чёрным, блестящим. Изнутри никто не ответил. Колода постучал ещё. Опять никто. Тогда он деликатно приоткрыл дверь и заглянул.

— Спят, — шёпотом сообщил он мне.

— Кто?

— Его высокоблагородие. Исправник. Евграф Кузьмич.

— А разбудить?

Колода посмотрел на меня с ужасом.

— Разбудить его высокоблагородие? — переспросил он. — Сударь, его даже пожар не будит. В прошлом годе Заречье горело, так он проснулся, только когда уже потушили. Вышел, посмотрел, сказал «ну и слава Богу» и обратно.

— А как же тогда?

— Ждать, — сказал Колода. — Они просыпаются в одиннадцать. Или в двенадцать. Бывает, к обеду.

Я посмотрел в щёлку. В кабинете, в огромном кожаном кресле, полулёжа, сидел полный человек в мундире, расстёгнутом на животе. Голова у него была откинута, рот приоткрыт. Он храпел. Храпел мощно, ритмично, с переливами, будто где-то внутри него работал старый компрессор. На столе перед ним лежали бумаги, стоял остывший стакан чаю в подстаканнике и ещё один, пустой.

— А сколько сейчас времени? — спросил я.

Колода достал из кармана медные часы-луковицу, открыл крышку.

— Без четверти восемь, — сказал он.

— А какое сегодня число?

Колода посмотрел на меня ещё внимательнее. Писарь в передней комнате тоже, кажется, перестал дышать.

— Двенадцатое мая, — сказал Колода. — Понедельник.

— А год?

Колода молчал секунд пять.

— Тысяча восемьсот семьдесят пятый, сударь, — сказал он наконец очень мягко, как говорят с больными. — От Рождества Христова.

Я кивнул. Я как-то уже знал. С той минуты, как увидел свинью с бантиком. Есть вещи, которые понимаешь сразу, а осознаёшь потом. Как с прорывом трубы: сначала знаешь, что прорвало, а потом уже бежишь.

— А город как называется? — спросил я.

— Дремов, — сказал Колода. — Уездный город Дремов. Н-ской губернии.

Дремов. Тысяча восемьсот семьдесят пятый. Люк.

Я сел на скамейку у стены. Ноги вдруг стали ватными. Колода тут же оказался рядом и протянул мне ковш воды. Откуда у него взялся ковш, не знаю. Вода была холодная, вкусная, колодезная.

— Вам плохо, сударь?

— Нормально, — сказал я. — Нормально. Тит Пантелеевич, а у вас тут завод есть? Чугунолитейный?

— Есть, — сказал Колода. — Захара Ермолаевича Тюрина. За рекой. А что?

— Он люки льёт?

— Чего льёт?

— Крышки. Чугунные. Для колодцев. Круглые, с надписью.

Колода покачал головой.

— Котлы льёт, — сказал он. — Чугунки. Сковороды. Решётки для кладбища. Колодцы у нас в срубах, сударь. Кто ж колодец чугуном закрывает? Чугун денег стоит.

Значит, люка ещё нет. Значит, его ещё не отлили. Значит, тот колодец, в который я упал, тоже ещё не сделан. Я попробовал разложить это в голове по пунктам, как раскладываю аварию: что случилось, где, причина, последствия. Что случилось, я знал. Где, теперь тоже. Причину не понимал. Последствия были передо мной: свинья, исправник и тысяча восемьсот семьдесят пятый год.

Ладно. На аварии главное — не стоять. Если стоишь, вода тебя обходит и заливает подвал.

— Тит Пантелеевич, — сказал я. — А нельзя его всё-таки разбудить? Я спешу.

— Куда?

Я подумал.

— Домой, — сказал я.

— В Москву?

— Дальше.

Колода перевёл взгляд с меня на дверь кабинета и обратно, как человек, который выбирает между двумя начальниками и боится обоих. В его лице шла борьба. Наконец он вздохнул.

— Я не могу, — сказал он. — Мне не по чину. Если я разбужу, он меня в Заречье переведёт. А там собаки.

— Тогда я сам, — сказал я.

— Не надо, сударь!

Но я уже встал. Я взял рупор, проверил, что он включён, приоткрыл дверь в кабинет, просунул туда раструб и сказал, не очень громко, вполсилы, как говорю во дворе по утрам:

— Внимание. Плановое отключение горячей воды.

Эффект был такой, что я сам испугался.

Исправник подскочил в кресле на полметра. Стакан с чаем полетел на пол. Бумаги посыпались. Евграф Кузьмич вскочил, запутался в расстёгнутом мундире, схватился за край стола и вытаращился на дверь. Глаза у него были голубые, круглые и совершенно ясные. Ни капли сна. Будто он не спал, а только притворялся.

— Кто?! — крикнул он. — Что?! Где отключение?

— Это я, ваше высокоблагородие, — сказал я, входя. — Брагин. Пётр Ильич. Из Москвы. Меня ваш городовой привёл. Для выяснения.

Исправник посмотрел на меня. На мой жилет. На рупор. На сапоги. Потом на Колоду, который стоял в дверях белый, как мел.

— Колода, — сказал исправник. — Это что?

— Задержанный, ваше высокоблагородие, — сказал Колода. — Из канавы у тюринской трубы. Со свиньёй матушки Агриппины.

— А что это у него в руке?

— Не могу знать, ваше высокоблагородие.

Исправник протянул руку. Я подумал и дал ему рупор. Он повертел его. Посмотрел в раструб. Нажал на кнопку. Рупор пискнул. Исправник вздрогнул, но рупор из рук не выпустил.

— Это что такое? — спросил он у меня.

— Это рупор, — сказал я. — Электрический. Для громкости.

— Электрический, — повторил исправник. Слово он, видимо, знал, но вместе с рупором оно у него не складывалось. — Как телеграф?

— Примерно, — сказал я.

— Из Москвы?

— Из Москвы.

Исправник осторожно положил рупор на стол, будто он мог взорваться, застегнул мундир, сел и сложил руки на животе.

— Документы, — сказал он.

Я полез в нагрудный карман и достал удостоверение. Тут надо пояснить. Паспорт у меня лежал дома, в шкатулке, вместе с документами на квартиру. С собой я ношу только одну корочку, красную, с золотыми буквами. «Удостоверение ветерана труда». Мне её дали два года назад, когда у меня вышел стаж. Ношу я её, чтобы бесплатно ездить в метро, и ещё потому, что она красная, с гербом, и действует на сотрудников управляющей компании лучше любого паспорта.

Исправник взял удостоверение. Открыл. Посмотрел.

И замер.

Внутри была моя фотография. Цветная. Пётр Ильич Брагин, в пиджаке, при галстуке, смотрит прямо, чуть хмуро. Внизу печать с гербом, круглая. Подпись. «Ветеран труда».

— Это что? — шёпотом спросил исправник.

— Фотография, — сказал я.

— Цветная?

— Цветная.

Исправник поднёс удостоверение к окну. Посмотрел на свет, будто искал водяные знаки, сличил меня с карточкой и позвал:

— Колода. Подойди.

Колода подошёл, глянул и перекрестился.

— Это ж вы, сударь, — сказал он. — Как живой. Только в галстуке.

— Ветеран, — прочитал исправник. Он читал старательно, по слогам, видно было, что новые буквы без яти его смущают. — Ветеран. Отставной, стало быть. Труда. Это какого труда?

— Обыкновенного, — сказал я. — Я тридцать два года работал. Потом вышел в отставку.

— Тридцать два года, — уважительно сказал исправник. — По какому ведомству?

Я подумал. Сказать «по ЖКХ» было бы бесполезно. Сказать «в управляющей компании» тоже.

— По хозяйственной части, — сказал я. — Городского хозяйства. Трубы, крыши, канавы, дороги. Чтобы не текло и не падало.

— Инженер?

— Техник.

— Техник, — повторил исправник. — Из Москвы. Отставной. С цветной... это как, говорите?

— Фотографией.

— С цветной фотографией, — сказал исправник и вдруг посмотрел на меня совершенно другими глазами. Глаза у него опять были ясные, острые и очень внимательные. Я понял, что Евграф Кузьмич Сонников может спать сколько угодно, но дураком он не был никогда. — А зачем же вы, Пётр Ильич, из Москвы, отставной по городскому хозяйству, с фотографией, вылезаете из канавы у нас, в Дремове, в семь утра, со свиньёй?

Хороший вопрос. Я бы сам его задал.

— Упал, — сказал я честно.

— Куда?

— В колодец.

— В какой колодец?

— В Москве, — сказал я. — Был прорыв трубы, я полез перекрыть, стенка обвалилась. Я упал. И вот.

— И вот вылезли у нас?

— И вот вылез у вас.

Исправник молчал. Колода молчал. Писарь в передней, судя по тишине, тоже молчал и слушал под дверью.

— Триста вёрст под землёй, — сказал наконец исправник задумчиво.

— Наверное, больше, — сказал я.

Евграф Кузьмич посмотрел в окно. За окном по площади шли гуси, и вид у них был такой, будто они тоже ждут решения.

— Знаете что, Пётр Ильич, — сказал он. — Я тридцать лет на службе. Я видел каторжников, конокрадов, фальшивомонетчиков, двух самозваных князей и одного человека, который уверял, что он внебрачный сын турецкого султана. Тот, кстати, был из Тамбова. Вы не похожи ни на кого из них. Вы похожи на человека, который упал в колодец. И это меня беспокоит больше всего.

— Почему?

— Потому что я не знаю, что с вами делать, — сказал исправник. — Если вы врёте, я должен вас посадить. Если не врёте, я должен вас отправить к доктору. А доктор у нас немец, он всех сначала моет. Вы хотите, чтобы вас мыли?

— Не очень.

— Вот и я так думаю.

Он побарабанил пальцами по столу. И в этот момент дверь в переднюю распахнулась, писарь ойкнул и отскочил, и в кабинет вошла женщина.

Точнее, не вошла. Ворвалась. Она была невысокая, плотная, в тёмно-синем платье с кружевным воротником, в платке, сбитом на затылок. Лицо красное, широкое, с ямочками на щеках, с решительным подбородком. В руке она держала деревянные счёты. Да, именно счёты, с костяшками. Она ими размахивала.

— Евграф Кузьмич! — сказала она голосом, от которого задрожали стёкла. Голос был низкий, мощный, как у дьякона на Пасху. — Опять! Опять подвал! Третий раз за весну! У меня там две бочки капусты, бочка огурцов и мука! Вы мне что обещали? Вы мне обещали, что голова распорядится! Где голова?

— Капитолина Власьевна, — сказал исправник с тоской. — Голова на водах. В Липецке.

— Он там с Покрова на водах! Сколько можно на водах?! У меня подвал тоже на водах!

— Капитолина Власьевна, я же вам говорил, это не по моей части...

— А по чьей?!

— По городской управе.

— А управа где?!

— Управа без головы.

— Вот! — торжествующе сказала женщина и стукнула счётами по столу так, что костяшки щёлкнули. — Город без головы! А вы, Евграф Кузьмич, вы что, не голова?

— Я исправник, — сказал Евграф Кузьмич.

— Вот и исправьте!

Тут она увидела меня. Посмотрела на жилет. На сапоги. На мокрые брюки. Нахмурилась.

— А это кто?

— Пётр Ильич Брагин, — представил меня исправник с видимым облегчением. Видно было, что он рад любой смене темы. — Отставной техник по городскому хозяйству. Из Москвы.

— Из Москвы? — переспросила женщина. Она посмотрела на меня внимательнее. — Мокрый.

— Упал, — сказал я.

— Куда?

— В канаву.

— В какую?

— У тюринской трубы, — подсказал Колода.

— У тюринской, — сказала женщина и вдруг прищурилась. — А это ведь, сударь, рядом с моим двором. Через забор. Вы оттуда, значит, вылезли?

— Оттуда.

— Мокрый?

— Мокрый.

— А вода откуда в канаве была?

Я подумал.

— Из трубы, — сказал я. — Из кирпичной. Она течёт.

— Вот! — сказала женщина, поворачиваясь к исправнику. — Вот! Слышали? Из трубы! А я вам что говорю? У меня в подвале вода из той же трубы!

— Капитолина Власьевна, это тюринский водоспуск, завод с горы сбрасывает...

— А куда он сбрасывает?!

— В реку.

— В мой подвал он сбрасывает!

Я встал. Я не хотел вставать. Я хотел сидеть, пить колодезную воду и думать, как попасть домой. Но тут было то, что я понимал. Это я понимал лучше, чем тысяча восемьсот семьдесят пятый год, лучше, чем исправника, лучше, чем свинью. Затопленный подвал.

— Простите, — сказал я. — Сударыня. А подвал у вас кирпичный или деревянный?

Женщина повернулась ко мне.

— Кирпичный, — сказала она. — Покойный муж клал. Сорок аршин.

— А вода с какой стороны идёт? Снизу, сквозь пол, или сбоку, со стены?

— Сбоку, — сказала она, подумав. — С той стороны, где канава.

— А когда сильнее? После дождя или когда на заводе работают?

Она подумала ещё.

— Когда на заводе работают, — сказала она медленно. — По понедельникам. Они по понедельникам печь разжигают и воду гонят.

— Значит, это не грунтовые воды, — сказал я. — Это у вас канава забита. Вода с завода идёт по трубе, выходит в канаву, а канава дальше не пускает, потому что засор. Вода поднимается, уходит в грунт и приходит к вам в подвал сбоку. Канаву надо расчистить метров на пятьдесят ниже по течению. И сделать уклон. И ещё у вас, наверное, водостока с крыши нет, и вода с крыши льёт под фундамент. Так?

Она смотрела на меня, открыв рот. Колода тоже. Исправник тоже. Я понял, что объяснил это быстро, сухо, как объяснял слесарям на планёрке, и что здесь, видимо, так не говорят.

— Так, — сказала она тихо. Потом громче: — Так! Водостока нет! Муж хотел поставить, а потом помер. Сударь, вы откуда это знаете?

— Тридцать два года, — сказал я. — По городскому хозяйству.

Она повернулась к исправнику.

— Евграф Кузьмич, — сказала она. — Я его забираю.

— Кого?

— Его. Техника. Пусть мне подвал посмотрит.

— Капитолина Власьевна, он задержанный...

— За что?

Исправник открыл рот. Закрыл. Посмотрел на меня. На удостоверение у себя в руках. На рупор.

— Для выяснения, — сказал он неуверенно.

— Вот у меня и выясните, — сказала Капитолина Власьевна. — Он у меня во дворе будет жить. «Три сазана», у моста. Все знают. Никуда не денется. А вы его тут держать будете, он у вас в кутузке простудится, мокрый. Тит Пантелеевич, вы чего стоите? Человек мокрый.

Колода посмотрел на исправника. Исправник посмотрел на Колоду. Потом оба посмотрели на меня. Потом исправник вздохнул так глубоко, что у него опять расстегнулась верхняя пуговица.

— Под вашу ответственность, Капитолина Власьевна, — сказал он. — Под вашу. Если он сбежит...

— Куда он сбежит? В Москву? Так он оттуда и так уже сбежал.

— Если он окажется фальшивомонетчиком...

— Тогда мне подвал хоть фальшивомонетчик расчистит, — сказала она и повернулась ко мне. — Пойдёмте, сударь. Звать-то вас как, ещё раз?

— Пётр Ильич.

— Капитолина Власьевна Свешникова, — сказала она. — Вдова. Постоялый двор держу. Пойдёмте, Пётр Ильич. Я вас сначала накормлю, а то у вас лицо голодное. А потом в подвал.

Исправник протянул мне удостоверение и рупор. Удостоверение я взял, а рупор он задержал в руке на секунду дольше, чем надо.

— Пётр Ильич, — сказал он тихо, так, чтобы Капитолина Власьевна не слышала. — А вы, это... Вы не по ревизии?

— Нет, — сказал я.

— Точно?

— Точно.

— Ну смотрите, — сказал исправник и отпустил рупор. — А то у нас, знаете ли, город маленький. Пугливый.

Мы вышли на площадь. Свинья Клеопатра сидела у полосатой будки, привязанная, и обиженно смотрела на нас. Увидев меня, она радостно хрюкнула и рванулась так, что будка закачалась.

— Это матушкина, — сказала Капитолина Власьевна, не останавливаясь. — Опять сбежала. Она у нас по всему городу гуляет. Тит Пантелеевич, отведи её.

— Отведу, — сказал Колода.

— Тит Пантелеевич, — сказал я. — Спасибо вам.

Он посмотрел на меня с высоты своих двух метров. В бороде у него что-то шевельнулось. Я не сразу понял, что это улыбка.

— А ловко вы его разбудили, сударь, — сказал он тихо. — Плановое отключение. Тридцать лет никто не мог.

Капитолина Власьевна уже шагала через площадь, широко, размашисто, обходя лужи, как полководец обходит неприятельские позиции. Счёты она держала под мышкой. Я пошёл за ней.

На краю площади, у самого Байкала, мордасовская артель смотрела мне вслед. Рябой парень что-то сказал остальным, и все трое засмеялись. Я не расслышал что.

В блокнот я записал: «12 мая 1875. Дремов. Подвал К. В. Свешниковой. Подтопление сбоку. Причина: засор канавы ниже тюринского водоспуска, отсутствие водостока с кровли. Меры: расчистка канавы, организация уклона, устройство водосточной трубы».

И подумал, что это первый акт в моей жизни, который я составляю на сто пятьдесят лет раньше, чем родился.

Глава 3. Только не Хлестаков

Постоялый двор «Три сазана» стоял у самого моста, на спуске к реке, и выглядел как человек, который всю жизнь много работал и никогда не ходил к врачу. Крепкий, широкий, двухэтажный, низ каменный, верх бревенчатый. Над воротами висела вывеска: три рыбы, нарисованные так, что одна из них явно была щукой, а вторая, если присмотреться, карасём. Сазан был только третий.

— Художник пьющий был, — сказала Капитолина Власьевна, проследив мой взгляд. — Я ему за трёх сазанов заплатила, он мне двух и не дорисовал. Говорит, вдохновение кончилось. Я ему говорю: деньги у тебя кончились, а не вдохновение.

Во дворе было тесно и шумно. Стояли две телеги с сеном, тарантас без одного колеса, у коновязи жевал овёс огромный серый мерин с белой мордой. Увидев хозяйку, он поднял голову и коротко, басом заржал.

— Генерал, — сказала Капитолина Власьевна. — Мой мерин. Двадцать лет. Умнее половины гласных думы.

— А почему Генерал?

— Потому что ест много, а работает, когда сам захочет, — сказала она. — Прохор! Прохор, бесёнок, где ты есть?

Из-под телеги вылез мальчишка лет двенадцати, чумазый, вихрастый, в рубахе навыпуск и босиком. В руке у него был пирог, наполовину съеденный.

— Тут я, Капитолина Власьевна.

— Опять пироги таскаешь?

— Это не таскаю, это пробую. Вы сами велели, чтоб я пробовал, не подгорели ли.

— Подгорели?

— Не, — сказал Прохор с набитым ртом. — Хорошие.

— Вот и неси на базар, а не ешь, — сказала она. — Пётр Ильич, это Прохор. Сирота. Пироги мои на базаре продаёт. Ворует, но в меру.

Прохор посмотрел на меня. Потом на жилет. Глаза у него стали круглые, как пятаки.

— Это вы с неба упали? — спросил он.

— Из трубы, — сказал я.

— Мне Иван с почты сказал, вы с неба. Рыжий. И голос у вас как у грома. Он слышал, как вы исправника будили. Вся площадь слышала.

Я понял, что про Дремов надо запомнить главное: тут всё слышит вся площадь. Как у нас во дворе. Только у нас для этого Римма Эдуардовна, а тут, похоже, весь город сам себе Римма Эдуардовна.

Меня накормили. Я не буду описывать, как меня накормили, потому что если я начну, то не закончу. Скажу только, что щи были из печи, кислые, густые, со сметаной, в которой стояла ложка. Что кулебяка была на четыре угла, с рыбой, с рисом, с яйцом, с грибами, и каждый угол отдельно. Что квас был такой, что у меня защипало в носу. И что Капитолина Власьевна стояла надо мной всё это время, уперев руки в бока, и говорила: «Ешьте. Ешьте, кому говорю. Вы худой, как лом».

Меня тридцать лет никто не кормил. Последняя, кто стояла надо мной с тарелкой, была мать. Тамара варила, но ставила тарелку и уходила к телевизору. Жанна не варила вообще, она считала, что мужчина должен есть в ресторане, а если не может в ресторане, значит, не мужчина. Я ел пельмени.

Доев, я по привычке полез в карман за деньгами. Тридцать лет одно правило: поел — заплати. В кармане нашлась мокрая сторублёвка и пластиковый проездной. Сторублёвку я

положил на стол. Капитолина Власьевна взяла её двумя пальцами, посмотрела на свет и на картинку с театром.

— Это что за ассигнация?

— Сто рублей.

— Сто?! — Она села на лавку. — Пётр Ильич, за сто рублей у меня до Покрова жить можно. С Генералом вместе.

— Тогда я поживу, — сказал я.

Она прищурилась на номер серии, пошевелила губами, вернула мне бумажку и сказала, что фальшивых денег у неё в доме сроду не бывало и начинать она не станет. А проездной надкусила, как купцы кусают монету, и потом долго жаловалась, что у москвичей деньги невкусные.

— Спасибо, — сказал я, отодвигая третью тарелку. — Очень вкусно. Теперь пойдёмте в подвал.

— Да куда вам в подвал, вы отдохните...

— Капитолина Власьевна, — сказал я. — Сегодня понедельник. Вы сами сказали, по понедельникам завод воду гонит. Если сейчас не посмотреть, у вас к вечеру опять будет капуста плавать.

Она посмотрела на меня. Потом кивнула, коротко, по-деловому.

— Пойдёмте.

Подвал у неё оказался хороший, сухой у дальней стены, но у той стены, что смотрела на канаву, на кирпиче проступали тёмные пятна, а внизу, у самого пола, стояла лужица. Бочки с капустой были заботливо отодвинуты к сухой стене и подложены досками. Пахло квашеной капустой и сыростью. Я постучал по кирпичу, послушал. Пощупал раствор. Раствор крошился.

— Кладка хорошая, — сказал я. — Но гидроизоляции нет. Ничего, тут не беда. Беда снаружи. Пойдёмте на канаву.

Канава за забором оказалась такой, какой я её представил. Сначала она шла нормально, от тюринской трубы вниз, к реке. Потом, метрах в тридцати, её перегораживал завал: старые доски, битые горшки, тряпьё, конский навоз, дохлая кошка, что-то похожее на колесо от телеги и огромная куча соломы, видимо, со всего околотка. Вода перед завалом стояла озером. За завалом канава была сухая.

— Вот, — сказал я. — Вот ваш подвал.

— Это Барановы, — сказала Капитолина Власьевна, багровея. — Это Барановы со своего двора кидают. И Кочергины. И трактир «Лебедь». Я им говорила!

— Говорить мало, — сказал я. — Надо сначала расчистить, потом говорить. Тогда разговор короче.

— Кто ж чистить будет?

Я посмотрел на неё. Потом на двор. Во дворе стояли две телеги, при телегах двое ямщиков, при ямщиках работник Капитолины, долговязый Ефим, и Прохор с пирогами.

— Вот они, — сказал я. — И я.

— Вы?

— Капитолина Власьевна, — сказал я. — Я тридцать два года говорил слесарям: «Ребята, давайте». И если я сам не брал лопату, они тоже не брали. Это закон. Начальник, который не берёт лопату, получает слесарей, которые не берут лопату.

Мы чистили канаву два часа. Ямщики сначала отнекивались, потом Капитолина Власьевна посмотрела на них, и они перестали. Ефим копал молча и сосредоточенно, как Анатолий в Чертанове, и я подумал, что, видимо, в каждом времени есть свой молчаливый человек с лопатой и без него ничего не работает. Прохор таскал мусор в тачке и при каждой находке кричал на весь околоток: «Кошка! Ещё колесо! Лапоть! Ещё лапоть! Два лаптя, Капитолина Власьевна!»

Когда мы разобрали завал, вода из запруды ушла вниз, к реке, с таким шумом и бульканьем, что из соседних дворов вышли люди. Стояли у заборов, смотрели. Женщины в платках, бородатые мужики, дети. Пёс какой-то лаял.

— Это кто там? — спросил кто-то.

— Москвич, — ответил кто-то другой. — Свешниковой постоялец. Рыжий.

— А зачем он канаву роет?

— Говорят, по казённой надобности.

— По какой казённой?

— Говорят, у него бумага с фотографией. Цветной. Говорят, он записывает.

Тишина. Я выпрямился, опираясь на лопату, и посмотрел на соседей. Соседи посмотрели на меня. Потом на мой нагрудный карман, где торчал блокнот. Потом, все разом, будто сговорились, отступили от заборов на шаг.

Я знал этот шаг. Это был тот же шаг, который сделал утром Колода, когда я сказал «акт».

К обеду о москвиче знал весь город. К вечеру знал весь уезд.

Слухи, как я понял потом, расходились по Дремову так же, как вода по засорённой канаве: медленно, со всеми остановками, захватывая по дороге всякий мусор. На почте сказали, что я приехал из Москвы с секретным предписанием. В трактире «Лебедь» сказали, что из Петербурга. На базаре сказали, что я переодетый генерал. В церковной сторожке, говорят, считали, что я тайный старец, потому что хожу в рыжем, как в рубище, и не пью. К вечеру меня видели одновременно у заставы, у собора и в бане, причём в бане я, по слухам, пересчитывал шайки.

А Капитолина Власьевна получила к ужину шесть визитов.

Первым пришёл купец второй гильдии Свиридов, хозяин кожевенной лавки. Он постоял в воротах, снял картуз, поклонился мне в окно и ушёл, ничего не сказав. Вторым пришёл почтмейстер. Он сказал, что «по случаю», спросил, не ожидаю ли я писем, и оставил на столе бутылку мадеры. Третьей пришла вдова майора Сухова с вареньем. Четвёртым пришёл человек, которого я не знал, и молча поставил на крыльцо корзину с яйцами. Пятым пришёл мальчик от трактирщика с запиской: «Его высокородию господину москвичу от трактира "Лебедь" нижайше. Мусор впредь кидать не будем». Записка была без подписи.

— Капитолина Власьевна, — сказал я. — Что происходит?

Она стояла посреди горницы, глядя на мадеру, варенье и яйца с выражением женщины, у которой на глазах её собственный постоялый двор превращается в приёмную.

— Пугаются, — сказала она.

— Чего?

— Вас, — сказала она. — Пётр Ильич, вы на себя посмотрите. Приехали ниоткуда. Одеты не по-нашему. Говорите громко. Бумага с гербом. Пишете. Канаву раскопали. Прямо всё видите, где течёт. Тут, Пётр Ильич, уездный город. У нас тут каждый знает, что у него где течёт. Только говорить про это не принято.

Я сел на лавку.

И тут до меня дошло.

В школе, в восьмом классе, у нас была литература. Литературу у нас вела Изольда Марковна, маленькая, строгая, в очках на цепочке, и я её боялся больше, чем завуча. У меня по литературе была тройка. Твёрдая, железная, как чугунный люк. Я плохо помню, что мы проходили. «Муму» помню, потому что жалко собаку. «Тараса Бульбу» помню, потому что там дрались. И ещё одну пьесу помню, потому что Изольда Марковна заставила меня читать вслух роль городничего, и весь класс смеялся.

Там был уездный город. Там все чиновники боялись, что приедет ревизор из Петербурга. И приехал. Только не ревизор, а молодой пустой человек, который проигрался в карты. А они его приняли за ревизора, носили ему деньги, кормили, сватали за него дочку городничего. А он

брал. И деньги брал, и дочку почти взял. А потом уехал, и выяснилось, и приехал настоящий. Немая сцена. Изольда Марковна сказала, что это гениально. Я тогда подумал, что это просто про нашу управу, но вслух не сказал, а то бы тройки не было.

Хлестаков. Вот как его звали.

Я сидел на лавке в горнице постоялого двора «Три сазана», смотрел на мадеру, корзину с яйцами и банку варенья и чувствовал, как у меня по спине бежит холодок. Не от страха перед уездными чиновниками. От другого. Я шестьдесят один год прожил честно. Я ни разу не брал на лапу. Ни разу. Даже когда было можно, даже когда все брали, даже когда мне предлагали за то, чтобы я подписал приёмку подвала, который потёк через неделю. И я не собирался на старости лет оказаться в пьесе. Тем более в роли, за которую у меня в восьмом классе была тройка.

— Капитолина Власьевна, — сказал я. — Это всё надо вернуть.

— Кому?

— Всем. Мадеру почтмейстеру. Варенье майорше. Яйца... чьи яйца?

— Это, кажись, лавочника Пестова.

— Пестову. Я ничего не беру.

Она посмотрела на меня с таким удивлением, будто я сказал, что не ем.

— Пётр Ильич, это ж гостинцы. Так принято.

— Знаю я, как принято, — сказал я. — Сначала гостинцы. Потом конверт. Потом дочку сватают. А потом приезжает настоящий, и все стоят столбом.

— Какую дочку?

— Неважно, — сказал я. — Это я из школы.

И тут пришёл шестой визитёр.

Он был маленький, щуплый, юркий, в длиннополом сюртуке, в начищенных до блеска сапогах и с напомаженными волосами, разделёнными пробором точно посередине. Лицо у него было узкое, с острым носиком, глаза бегали. Таких я видел в управляющей компании десятками. Обычно они работали в отделе по работе с подрядчиками и всегда первыми узнавали, кто кому что подписал.

— Сысой Кутьин, — представился он, кланяясь так низко, что пробор оказался у меня перед носом. — Приказчик Епифана Лукича Мордасова, купца первой гильдии. Епифан Лукич кланяются и велели передать.

Он положил на стол конверт. Белый, плотный, с сургучной печатью.

Ну вот, подумал я. Вот и конверт. Быстро у них тут. В Москве на это уходит минимум неделя согласований.

— Что это? — спросил я.

— Епифан Лукич велели передать, — повторил Сысой, улыбаясь. — В знак уважения. По случаю благополучного прибытия.

— А что внутри?

— Уважение, — сказал Сысой.

Я взял конверт, сломал печать и вынул содержимое. Внутри было две бумажки, сиреневая и розовая. Я в деньгах тысяча восемьсот семьдесят пятого года не разбирался, но цифры на бумажках прочитал: двадцать пять рублей и десять рублей.

— Тридцать пять рублей, — сказал я.

— Уважение, — повторил Сысой и сделал шаг к двери.

— Стоять, — сказал я.

Сказал я не громко. Но так, как говорил на аварии слесарю, который собирался открыть не ту задвижку. Сысой остановился.

Я достал блокнот. Вырвал из него чистый лист. Достал ручку. Ручка была шариковая, синяя, с надписью «Чертаново-Комфорт». Сысой смотрел на неё, как на змею.

Я написал. Писал я крупно, разборчиво, печатными буквами, потому что так меня учили писать акты:

«РАСПИСКА. Я, Брагин Пётр Ильич, 12 мая 1875 года получил от Кутьина Сысоя, приказчика купца Мордасова Е. Л., 35 (тридцать пять) рублей ассигнациями в конверте с печатью. Назначение платежа: "уважение". Деньги возвращены в полном объёме в присутствии свидетеля. Свидетель: Свешникова К. В. Подпись получателя: Брагин. Подпись вернувшего: _____».

— Подпишите, — сказал я и протянул Сысою лист и ручку.

Сысой посмотрел на лист. Прочитал. Побледнел. Прочитал ещё раз. Позеленел.

— Это зачем? — спросил он шёпотом.

— Затем, что деньги я возвращаю, — сказал я. — А возврат без расписки не бывает. Вы же приказчик, вы знаете. Деньги взяли, деньги отдали. Всё записали. Чтобы потом не было вопросов, куда делись тридцать пять рублей. Вдруг Епифан Лукич спросит. Вот вы ему расписку и покажете.

— Я не могу показать Епифану Лукичу такое!

— Почему?

— Там написано... — Сысой ткнул пальцем в лист, и палец у него дрожал, — там написано «назначение платежа».

— Так вы же сами сказали: «уважение».

— Это ж... это ж нельзя писать!

— А давать можно? — спросил я.

Сысой открыл рот и закрыл. Капитолина Власьевна стояла у печки, скрестив руки, и я видел, что она еле сдерживает смех. У неё дрожали ямочки на щеках.

— Подписывайте, Сысой, — сказала она своим дьяконским басом. — Чего уж теперь. Я свидетель.

Сысой взял ручку двумя пальцами, как берут дохлую мышь. Ручка не писала. Он нажимал на неё, как на перо, сверху вниз, и шарик не крутился. Я показал ему, как писать. Он вывел внизу закорючку. Потом схватил конверт с деньгами, сунул его за пазуху и почти бегом выбежал во двор. Генерал у коновязи посмотрел ему вслед и шумно фыркнул.

Расписку он оставил на столе. Я аккуратно сложил её и убрал в блокнот.

— Пётр Ильич, — сказала Капитолина Власьевна, отсмеявшись. — Вы что наделали?

— Вернул взятку.

— Вы не взятку вернули. Вы Мордасову войну объявили.

— Это кто вообще такой?

— Епифан Лукич? — Она села напротив меня на лавку и вздохнула. — Это, Пётр Ильич, весь наш город. Ему принадлежит винный склад, два трактира, мельница, лавки в гостином ряду. Подряд на мост у него. Подряд на казённую соль у него. Половина гласных в думе у него в долгу. И Байкал у него.

— Как это, лужа у него?

— Артель у лужи его. Мордасовская. Вы видели. Они за день до трёх рублей с неё собирают, а в ярмарку и пять. Вы думаете, почему лужу сто лет не засыпали?

Я посмотрел в окно. За окном темнело. Где-то в конце улицы светилось одинокое окно трактира. Фонарей на улице не было ни одного.

— Капитолина Власьевна, — сказал я. — Я не ревизор. Вы это понимаете?

— Понимаю, — сказала она. — Ревизор бы взял.

На следующее утро я решил покончить с этим раз и навсегда.

Если тебя путают с кем-то, надо громко и ясно сказать, кто ты. Так меня учил отец. Однажды на стройке его перепутали с прорабом и чуть не заставили подписать акт приёмки на недостроенный дом. Он тогда вышел на середину площадки и сказал: «Я не прораб. Я шофёр. У меня самосвал. Я подписываю только путевой лист». И все отстали.

Я взял рупор и пошёл на базар.

Базар в Дремове был на соборной площади, рядом с гостиным рядом. Ряды были каменные, с арками, жёлтые, облупившиеся, и под арками торговали всем: тканями, сапогами, скобяным товаром, иконами, сбруей, баранками. На площади стояли возы с капустой, с мукой, с горшками. Бабы торговали яйцами, молоком, курами. Мужики торговали лошадьми и ругались. Цыгане торговали всем сразу. Гуси ходили между возами и воровали.

Я встал на пустую бочку из-под селёдки посреди площади, поднёс рупор ко рту и нажал на кнопку.

— Граждане! — сказал я. — Жители города Дремова!

Площадь замерла. Мужик, торговавший лошадью, выпустил повод, и лошадь ушла. Баба уронила яйцо. Гуси загоготали и разлетелись. Где-то упал горшок.

— Меня зовут Пётр Ильич Брагин, — сказал я. — Я из Москвы. Я отставной техник по городскому хозяйству. Довожу до вашего сведения, что я не ревизор. Повторяю: я не ревизор. Я не из Петербурга. Я не генерал. Я не переодетый. Я не старец. Я не по секретной части. Я никого не проверяю и ни на кого не пишу доносов. Гостинцы мне носить не надо. Деньги тоже не надо. Я человек частный. Я просто живу у Капитолины Власьевны Свешниковой. Спасибо за внимание.

Я слез с бочки.

Площадь молчала. Секунд десять было так тихо, что я слышал, как где-то вдалеке, у реки, квакает лягушка. Потом в толпе кто-то тихо, с огромным уважением, сказал:

— Инкогнито.

И вся площадь подхватила шёпотом:

— Инкогнито... Инкогнито... Сам сказал, что не ревизор. Ревизор так и говорит. Значит, точно ревизор. Из самого Петербурга. Слыхали? Сказал, что не генерал. Генерал...

Я стоял посреди базара с рупором в руке и понимал, что сделал всё в точности наоборот. Изольда Марковна была бы мной довольна. Хотя тройку бы, наверное, не исправила.

И тут кто-то закричал:

— Горим!

Дым шёл из-под крайней арки гостиного ряда, где торговали калачами. Калачник, толстый, в белом фартуке, стоял перед своей лавкой и махал руками, а из лавки, из открытой двери, валил серый дым, и по холщовому навесу над входом уже бежали маленькие весёлые язычки огня. Навес был сухой, старый, просмоленный, и огонь по нему побежал быстро, как кошка по забору. А над навесом, над аркой, была деревянная надстройка второго этажа. А рядом, под соседней аркой, лавка со сбруей. А рядом с ней лавка с дёгтем.

Я знал, что такое пожар в торговых рядах. Я знал, что такое навес над входом. Я не пожарный, но тридцать два года в управляющей компании учат бояться трёх вещей: газа, воды и огня. Газа тут не было. Вода, слава Богу, была. Огонь был.

Народ бежал. Кто от огня, кто к огню. Калачник орал. Баба с яйцами кричала: «Батюшки!» Какие-то мужики уже тащили вёдра, но тащили вразнобой, сталкивались, расплёскивали, ругались. Один мужик, самый решительный, плеснул ведром прямо в открытую дверь лавки, и оттуда пыхнуло паром и чёрным дымом так, что он отскочил с опалёнными бровями.

Я опять встал на бочку и нажал на рупор.

— Внимание! — сказал я. На этот раз во весь голос. — Слушать меня!

Ничего не изменилось. Все бегали. Тогда я вынул из-за пояса свисток и свистнул. Свисток у меня судейский, футбольный, металлический. В Чертанове от него разбегаются даже собаки Тимура. Тут от него замерли все.

— Мужики! — сказал я в рупор. — Встать цепью от колодца до лавки! Через одного! Вёдра передавать из рук в руки! Не бегать! Вы, — я ткнул в здорового парня с вёдрами, —

первый у колодца. Вы, — в калачника, — уберите всех из ряда! Бабы, тащите всё, что есть сырого: мешки, рогожи, мочите в бочке! Дети, прочь от огня! Мальчишки, вы — к соседним лавкам, выносите дёготь! Дёготь! Чтобы его там не было! Навес рубить! Кто с топором? Навес рубить, чтобы на второй этаж не пошло!

Это было похоже на аварию в подвале на Кировоградской, когда у нас разом прорвало трубу, залило щитовую и заперло лифт с бабушкой внутри. Там я тоже кричал в рупор, только тогда у меня ещё не было рупора, и я кричал так. Всё происходит одновременно, и каждый должен знать, что делать ему. Если каждый знает, авария превращается в работу. Если нет, она превращается в панику.

Цепь встала. Не сразу, не ровно, но встала. Вёдра пошли из рук в руки, от колодца к лавке, полные туда и пустые обратно. Бабы мочили рогожи. Какой-то мужик с топором залез на бочку, рубанул по стойке навеса, и горящий навес рухнул вниз, на мостовую, где его тут же забросали мокрыми мешками. Мальчишки, во главе с Прохором, выкатывали из соседней лавки бочонки с дёгтем. Прохор кричал: «Раз-два, взяли!» так, будто занимался этим всю жизнь.

Рядом со мной вдруг оказался молодой человек. Худой, высокий, в студенческой тужурке, в очках, одно стекло которых было треснутым. Он был без шапки, светлые волосы торчали во все стороны.

— Что делать? — спросил он быстро.

— Внутри лавки что горит? — спросил я.

— Печь, — сказал он. — Он калачи в печи печёт. Видимо, заслонку не закрыл, угли выпали на солому.

— Воду в печь не лить! — сказал я в рупор. — Землёй! Песком! Есть песок?

— У собора, — сказал молодой человек. — Куча. Для дорожек.

— Ведите туда цепь!

Он кивнул и побежал. Он бежал так, будто знал, что делает, хотя видно было, что не знал, но очень хотел. Через пять минут вторая цепь, уже с песком, пошла от собора к лавке. Огонь внутри зашипел и начал сдаваться. Дым стал белым.

Через полчаса всё кончилось. Лавка калачника стояла чёрная, мокрая, без навеса, но целая. Второй этаж не загорелся. Лавка со сбруей не загорелась. Дёготь стоял посреди площади в бочонках, и вокруг него бегали гуси. Калачник сидел на мостовой и плакал, обхватив голову руками, а жена утирала ему лицо фартуком.

Я слез с бочки. Ноги у меня дрожали, как после долгого дежурства. Ко мне подошёл молодой человек в треснутых очках. Он был весь в саже, и мокрый, и улыбался.

— Аркадий Львович Шустов, — сказал он, протягивая руку. — Письмоводитель городской управы. Вы... вы как это сделали?

— Свистнул, — сказал я.

— Нет, я про цепь. Про то, что каждый знает... — Он запнулся, подбирая слова. — Это же организация. Самоорганизация масс. Это же, как писал...

— Кто писал?

Он смутился и понизил голос.

— Неважно. Это я из университета. Меня исключили. За чтение.

— За чтение исключают?

— За неправильное чтение, — сказал он и поправил треснутые очки. — Пётр Ильич, вы ведь Пётр Ильич? Из Москвы? Тот самый?

— Тот самый, — вздохнул я. — Только не ревизор.

— Я знаю, что вы не ревизор, — сказал Аркадий.

Я посмотрел на него с благодарностью. Первый человек в Дремове, который мне поверил.

— Ревизоры не тушат пожары, — объяснил он. — Ревизоры после пожара приезжают и пишут, кто виноват.

Вокруг нас уже собиралась толпа. Люди смотрели на меня. Не так, как вчера через заборы. По-другому. Калачник поднялся с мостовой, подошёл, не снимая с головы женину руку, и поклонился мне в пояс.

— Батюшка, — сказал он. — Спаситель. Я тебе калачей... Всю жизнь...

— Не надо калачей, — сказал я. — Заслонку закрывайте. И печь в лавке, под деревянным навесом, это нарушение. Её надо отодвинуть от стены минимум на аршин. И железный лист перед топкой. И бочку с водой у входа. Это я вам официально говорю.

— Официально, — прошептал кто-то в толпе.

И я опять услышал этот шорох, который бежал от человека к человеку. Только теперь в нём было не «инкогнито». Теперь в нём было другое слово.

— Начальник, — шептала площадь. — Пришёл начальник.

Вечером мы сидели в горнице у Капитолины Власьевны втроём: она, я и Аркадий. Аркадия она накормила, как меня вчера, и он ел так, будто не ел с прошлой зимы. Возможно, так и было. Жалованье письмоводителя, как он объяснил, составляло восемь рублей в месяц, из которых три он отдавал за угол, два посылал матери в Карачев, а остальное тратил на книги.

— Пётр Ильич, — сказал он, вытирая губы. — Вы понимаете, что сегодня произошло?

— Пожар, — сказал я. — Потушили.

— Нет. Вы понимаете, что в городе нет головы?

— Капитолина Власьевна говорила. На водах.

— Аристарх Ионович Ветлугин, восемьдесят лет, — кивнул Аркадий. — Уехал в Липецк на воды ещё в октябре. Прислал письмо, что останется до излечения. Мы ему отписали, что излечения в восемьдесят лет не бывает. Он прислал прошение об отставке. Значит, по Городовому положению, дума должна избрать нового голову.

— Какому положению?

— Городовому, — сказал Аркадий, и глаза у него заблестели. Я понял, что сел на его любимую тему, как Протокол садится на документы. — Тысяча восемьсот семидесятого года. Государь даровал. Теперь в городах сами жители выбирают гласных в думу. На четыре года. А дума выбирает голову и управу. А голова управляет городом. Хозяйством. Мостовыми, освещением, пожарной частью, водой, базаром. Самоуправление! Понимаете?

— Понимаю, — сказал я. Это было похоже на совет многоквартирного дома, только в масштабе города. И с той же проблемой. — А кворум у вас бывает?

— Что?

— Ну, сколько гласных приходит на заседание?

Аркадий погрустнел.

— Обычно человек двенадцать, — сказал он. — Из сорока. Остальные в отъезде. Или болеют. Или в трактире. Последнее заседание было в марте, по поводу свиней, и не набрали кворума. Отложили. В апреле тоже.

— По поводу свиней?

— Свиньи по улицам ходят, — сказал Аркадий. — Матушки протоиерея свинья по Дворянской ходит, как по собственной гостиной. Кто-то предложил запретить. Половина гласных сами свиней держат. Не пришли.

Я засмеялся. Первый раз с тех пор, как упал в колодец.

— Аркадий Львович, — сказал я. — Я у себя в Москве пять лет не мог собрать кворум по шлагбауму. Я вас понимаю, как никто.

— А что такое шлагбаум?

— Это такая... палка. Поперёк дороги. Чтоб чужие не ездили.

— Застава? — спросил Аркадий.

— Застава, — согласился я.

— У вас в Москве пять лет не могут поставить заставу? — Он посмотрел на меня с ужасом. — Значит, это везде так?

— Везде, — сказал я.

Тут в ворота постучали. Громко, требовательно, тремя ударами. Генерал во дворе поднял голову. Капитолина Власьевна выглянула в окно и сразу выпрямилась, будто проглотила аршин.

— Сам, — сказала она тихо.

— Кто сам?

— Мордасов, — сказала она. — Епифан Лукич. Собственной персоной.

Он вошёл, не дожидаясь, пока ему откроют дверь в горницу. Высокий, грузный, лет пятидесяти пяти, в длинном синем сюртуке, с золотой цепочкой от часов через весь живот. Борода у него была тёмная, расчёсанная надвое, волосы смазаны маслом, глаза маленькие, чёрные, живые. За его плечом маячил Сысой с прилизанным пробором.

— Ну-с, — сказал Мордасов. И щёлкнул пальцами. Громко, как будто хлопнул пробкой. — Вот, значит, вы какой.

— Какой? — спросил я.

Он не ответил. Он обошёл меня кругом, как обходят лошадь на базаре, разглядывая сапоги, жилет, блокнот. Потом остановился напротив и улыбнулся. Улыбка у него была широкая, весёлая и совершенно холодная.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.